



Бунин И. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 2. Произведения 1887 — 1909 г.
/ Коммент. В. Титовой //Художественная литература, М., 1987
FB2: WZ (WW_ZZ), 12 December 2019, version 1.0
UUID: AE7380AA-C3F2-4DED-B6FA-02F119C1C5C0
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Будни

Содержание

#1	0005
Комментарии	0022

Иван Алексеевич Бунин
БУДНИ

Казалось, что вечно будут стоять по горизонтам эти бледно-синеющие тучки, под которыми серели соломенные крыши, зеленели лозины и пестрели разноцветные клетки окрестных полей. Июньский день без солнца был особенно долог.

Попов сын, у которого гостил семинарист Случевский, возил с попом навоз. Ворота, возле длинной белой хаты, были открыты настежь. Две испачканных коричневой жижей телеги, две сытых лошади стояли среди взрытого двора на варке. Попов сын ворочал за троих: глубоко поддевал вилами горячие пласты и, подставив под вилы левое колено, вздирал их с сочным треском. Поп, черный, высокий человек, в одной рубахе, в розовых подштанниках и мужицких сапогах с опустившимися голенищами, не отставал: бодро тряс по плечам синими волосами, запуская в навоз вилы, и крепко шлепал по возу дымящимися ломтями, перевертывая их. Выходили из ворот и отец и сын с потными лицами, но возбужденные, довольные предстоящим в пути на поле долгим отдыхом.

— Господин Шаляпин, присоединяйтесь-ка

к нам! — весело крикнул поп семинаристу, идя за колесами, держа в руках веревочные вожжи и развевая на ходу легкие полы незастегнутого подрясника.

Семинарист, сидевший на крыльце, почувствовал в этой шутке фальшивую, корыстную ноту, однако не сдался.

— Да вот та-то и беда, что мечтаешь стать Шаляпиным, — отозвался он. — Запотеешь, охватит ветром — и готов. С голосом, отец Петр, нельзя шутить. А то бы я с величайшим удовольствием.

Семинарист, темноглазый юноша с широким, бледным и важным лицом, смотрел на удаляющиеся телеги, на серо-сиреневую дорогу и на потные, ржавые клоки, раскиданные по ней. Прошел мимо дьячок, приостановился, пожаловался на свою судьбу и опять рассказал о своем покойном сыне. Огромные руки его, разбитые старостью и пьянством, лежали на костыле и все время ходили, шатали костыль. Огромные дегтярные сапоги глядели из-под коричневого подрясника. Серебряная медаль на красной ленточке украшала грудь. Лицо и крупный нос были розовы, мясисты, в

рытвинах. Выпученные гноящиеся глаза, как всегда, плакали; темно-рыжие волосы, заплетенные в косу, жестко вились, как у старух-пьяниц. А говорил дьячок одностонно, с трудом выбивая каждый слог: каждый слог его дрожал, прыгал.

— Отцу Петру счастье! — говорил он. — У него помощник есть. А мой — лежит себе в могилке! Рос — восхищал всех. Бывало, похваюсь им: «У меня не сын, а гений!» А все говорят: «Если выйдет в вас, Степаныч, лучше всякого гения будет». Вырос, — так, верите ли, хозяйственнее его во всем селе не было! Чахотка в последнем градусе, а и умер, не поддался. «Вы должны на днях умереть», — говорит фельдшер. — «Нет, говорит, не могу я, не свозивши рожь, умереть». Скосили мы, связали, сидит зарей на крыльце, смотрит на облака, а я ему и говорю: «Что это ты сидишь, смотришь?» А он и говорит: «Давайте, папаш, покуда погодка, на двух подводах возить». — «Да бог с тобой, куда тебе возить! Я мужика хотел нанять». — «Не надо, не надо, сами управимся». — «Как же, говорю, управимся: ее, ржи одной, тридцать четыре копны». А он все свое...

Так, верите ли, по двенадцать раз в день на поле летал! И отдыхать не отдыхал, — сядет в холодок, выпьет кваску и опять в телегу. Меня, и то уходил. Чуть свет, еще петухи не крикнут, а он уж подымает: «Вставайте, вставайте скорей, тучки заходят...» В три дня все кончили — и свезли, и обмолотили, и солому прибрали... Гонит меня за веялкой, взял я веялку у Данилкиных, обвеяли, подмели ток... Как последнее зерно в амбар — входит в избу и говорит: «Ну, вот теперь дело другое. Где, папаш, свечи? Зажигайте свечи». Зажгли свечи у образов, он лег на диван — и каюк!

«Недурно», — иронически думал семинарист, слушая.

По уходе дьячка он взял тросточку, надел новенькую серую шляпу, накинул на плечи серебристый дождевик и побрел по деревне. Выйдя на выгон, он посмотрел на церковь, бледно белевшую на туче, посмотрел на раскрытые окна казенной винной лавки; хотел было зайти поболтать к сидельцу, но раздумал и пошел по направлению к погосту. Сиделец был отравлен страстью к чтению. С утра до вечера лежал он на своей высокой дву-

спальной кровати, опершись на локти, и страница за страницей пожирал «Вокруг света». «Сейчас, сейчас, — торопливо бормотал он в ответ на приветствие. — Дайте только до точки дочитаться...» А беседуя с гостем, не слушал его, невпопад смеялся, ждал, когда гость уйдет. Поминутно отрываемый от книги то женой, то мужиками, он кидал на них растерянные, шальные взгляды. «Корове пора месить!» — злобно кричала жена, отворив дверь. «Еще четвертку поскорее!» — радостно орал мужик, заглядывая в раскрытое окно. А он не понимал, кто и куда его зовет. В голове его путались острова Тихого океана и прерии, Южный Крест и Гренландия, Бразилия и кафе-ры, голландские колонисты и удавы, реки в тропических чащах и гиппопотамы... «И причем тут Тихий океан?» — думал семинарист, шагая по безлюдной улице. Навстречу ему шел десятский, длинный, в красной рубахе, в разбитых сапогах, из которых один был связан по ступне веревкой. На плече его лежала одностволка.

— Куда это? — спросил семинарист.

— Грачей наказывать, — ответил десят-

ский.

Десятский был человек знакомый: не раз приходил просить газет на сигарки. Полурассыпавшаяся изба его стояла на краю деревни, рядом с погостом. За избой пустовало гумно, без соломы и без риги, валялись, зарастая травой, однозубые вилы, перевернутый вверх дном тележный ящик с двумя новыми, желтыми ребрами, высохшая дегтярка... На лозине вниз головой висел дохлый цыпленок — пугало, хотя отпугивать было некого и не от чего. Гордый своей отчужденностью от этого жалкого быта, своими мечтами о Москве и консерватории, семинарист вышел на погост, на бугор за деревней, небрежно откидывая голову, выставляя кадык, посвистывая, шурша серебристым плащом.

На погосте, среди репьев, татарок и могильных бугров бродила рыжая лошадь с палевой гривой[1]. Помахивая жидким хвостом, она щипала мелкую, сухую траву. На большой свежей могиле, на холмике из сизой рассыпчатой глины, лежал, с головой накрывшись армяком, мужик. Смиренно, с опущенными хвостами, тихо переговариваясь,

гуляли индюшки лавочника. Гуськом тянулись они к мужику — и вдруг все разом пустились бежать, а добежав, подпрыгивали, вклеивались в его армяк, в голову. Мужик вскакивал, запускал в них горстями глины: индюшки подпрыгивали, треща перьями... Сделав вид, что не замечает мужика, семинарист прошел мимо.

Над господскими могилами росли две березки. Когда-то их окружала деревянная ограда, за оградой стояла скамья. «Буду приходить сюда, сидеть, вспоминать и грустить», — думал тот, кто делал все это. И ни разу не пришел. А деревня мало-помалу разломала, растаскала и ограду и скамью. Свиньи взрыли могильные бугры, телята обглодали стволы березок... С иронической улыбкой, посвистывая, семинарист повернул назад. Поблизости от той могилы, на которой старался уснуть мужик, стоял гнилой голубец. Из него выпорхнула мухоловка. Семинарист подошел: в голубце, рядом с фольговой радужной иконкой, лежало круглое гнездышко. От скуки семинарист хотел вытащить его, рассмотреть, разобрать и бросить. Но мужик открыл глаза

и пристально посмотрел из-под армяка.

— Отделались? — спросил он.

Вопрос был неожиданный. Семинарист обернулся и поднял брови.

— То есть как это? — сказал он.

— А так. Отучились?

Семинарист не спеша прошел к соседнему могильному бугру.

— А, ты вот про что! — сказал он, садясь и с притворной рассеянностью поглядывая вокруг. — Да, до осени отучился. А ты, кажется, не здешний?

— Я из Рассохина, — ответил мужик. — Из волости еду. Ехал и думаю, — дай, мол, лошадь маленько покормлю... А вы? Духовные?

— Да... Но, главным образом, пению учусь.

— Как пению? — спросил мужик, зевая. — Хор, значит, будете задавать?

— Нет, брат, не хор, — сказал семинарист и оперся на трость. — Я на сцене буду петь. Да ты, впрочем, этого не поймешь... Я в театр готовлюсь.

Мужик усмехнулся.

— Ну, нет, это я даже очень хорошо могу понять, — ответил он. — Ну, только это со-

всем никуда, совсем скверно. Это вы так много не наживете.

— Да что ты!

— Верное слово, — сказал мужик спокойно и уверенно. — Там вы добра не приобретете. Нет, вы уж лучше по церковному ступайте, по своему ремеслу, — кур да ситники с народа огребать. А в театре петь — это уж самое последнее дело.

— Да чем же последнее?

— А так, что последнее. Там чепуха одна идет. Вы лучше мое готовое слушайте, я уж плохого не скажу. Я не простой, я бывалый человек. Я от этих мужиков теперь отбился, я все лето прошлый год в Липецке прожил. Со всяким могу поговорить...

Скучно синело по горизонтам низкое облачное небо, бледно зеленели хлеба на противоположном косогоре, — поневоле приходилось довольствоваться и такой беседой. Вынув плетеный портсигар, семинарист закурил папиросу, другую протянул мужику. Мужик осторожно взял.

— Вот это покорнейше благодарим, — сказал он, зажигая серник, и, пустив дым в нозд-

ри, посмотрев на папиросу, отрывисто спросил:

— Асмолова?

Семинарист напомнил ему о театре.

— А вот слушайте, — сказал мужик. — Я этих театров нипочем не уважаю. Там, прямо надо говорить, черти живут. Раз куренье там есть, — значит, и водка есть. А уж где водка, там и баб не миновать... Нет, от этого вам надо подальше куда подаваться! Вот кто, к примеру, по монастырям живет, монахи, тем хорошо: гуляй, бесись — и вся недолга. Есть чистые борова, домовые! Цельную жизнь бражничают, весь век в том протекают! А в театрах, там водка, бабье, ну, конечно, и он тут же вертится. Уж где вино, там бесприменно он.

— Это ты про черта, что ли? — спросил семинарист.

— А то про кого же? Конечно, про него. Да и верно. Там, куда ни качнись, везде он. Я давно об этом понимаю. Что там хорошего? Я такой-то, и то туда не пойду. Тощавый человек туда и не показывайся — на тройк там не разыграешься. А ездят туда бабье это самое, разные бабы шальные, да купечество: долги

свои заверстал — и вали... Я в этом Липецке всего нагляделся. Там в трех верстах сад есть, ну, вот туда и ездят все. Забирают с собой ветчину, колбасу копченую, наливки... Приедут и пируют целый день. Старуха с дедом не успевают самовар кипятить...

Семинарист небрежно сказал:

— Ну, вот и видно, что ты ничего не понимаешь, несешь чепуху и все путаешь. То грех, а то — «на трояк не разыграешься...»

— Обязательно так! — твердо сказал мужик. — По капиталу глядя, конечно, можно, а таким-то, как мы с вами, голоштанным, зачем туда соваться?

Семинарист вздернул плечами.

— Черт знает что! — проговорил он, помолчав. — Несешь и с Дона и с моря.

— Нет, брат, — сказал мужик. — Умней меня во всем селе нету. Обойди всех, спроси: кто дельнее по хозяйству Назар Павлова Протасова? Со мной старики, и то советоваться приходят.

— А несешь чепуху?

— Какую-такую чепуху? Воспитанья на вас нету хорошего, вот и «чепуху»... Вон у нас са-

пожник есть... Первое дело, как выпил, сейчас за ребят: у него их целая война, человек двенадцать... Так они винтом от него, кто куда горазд! Ты не гляди, что он пьяный: так, брат, воспитал — по лычку ходят! А, конечно, теперь всем воля дана... Женщину, например, взять: от кого вся сумятица в государстве идет? Опять же от ней. Она теперь во все председания допущена большое количество, а куда она годится? Хотя им теперь тоже хорошее ученье пошло, ну, а все-таки мужчина-то немножко потверже будет!

— Черт знает что! — повторил семинарист, глядя на его густую чубарую бороду. — Что такое у тебя в голове творится? То сад, то театр, то женщины... Ну, скажи на милость, какое отношение может иметь этот дурацкий сад к театру?

— А такое, — ответил мужик еще увереннее. — Такое, что без этого ему никуда податься нельзя.

— Кому ему?

— Запевале главному, вон кому. Он там, в саду-то в этом, вылупит стакан али два хороших и орет, альни ребра трещат... Он уж не

может без этого.

— Да позволъ: какой-такой запевала?

— Говорю же вам — главный запевала. Главач этих самых певцов. Натощак он никак не станет для них глотку рвать.

— И опять чепуха, — сказал семинарист. — Певцам и совсем нельзя пить. От этого голос портится.

Мужик ухмыльнулся, поднялся и сел.

— Ну, нет, не чепуха! — сказал он. — Не может от ней голос портиться. От ней голос не хуже, а много злей становится. Как же можно ровнять! От вина человеку все нипочем. Он прямо сам не свой, когда душу свою наспиртует. Вы попробуйте-ка ее, сивухи-то нашей. Она слепому глаза продерет.

Семинарист, махнув рукой, облокотился на колени и стал осторожно давить концом трости красных козявок, парами ползавших возле его ног. Мужик что-то думал, глядя в землю.

— Нет, этот жребий ваш — жестокий, — сказал он с сожалением. — Жестокая ваша задача. Театры — это как все равно зверильница, или, скажем, циркульня простая... Как эти

звери там режут, так я такой страсти прямо с отроду не видывал! Настоятель ходит, — как какой зритель захочет, чтоб зверь встал, он его сейчас железным прутом... Хочет не хочет, а обязательно подымет.

— Здравствуйте! — сказал семинарист. — Еще и циркуля на сцену появилась. Она-то тут при чем?

— Так, там все есть... Только я этого, говорю, никак не уважаю. Раз там молитвенного нету, все эти театры, зверильницы, циркули всякие надо запечатывать и скилеты все переломать... Вон у меня родственник есть. Из себя так, писаришка простой, а голос — прямо беда. Молодой еще человек, а пить страшный здоровый, любитель до вина. Залез недавно на крышу и зевает за все село. Это что ж, прилично?

— Но зачем же на крышу-то?

— А спроси его! Чума его знает зачем. С сестрой вот, это они, правда, хорошо поют. Его сестра в городе живет, на машинке работает. Она хоть чахоточная, а голос много складней, чем у него, хоть под кого подтянет. Как приедет к нему, сядут зарей возле избы и

поют. И не что-нибудь, не мужицкие песни, а все «Накинув плащ» либо «Ах ты, воля, моя воля...». Хорошо выходит. Сулился этот писарь ко мне приехать, вот и вы приезжайте попеть с ними. Я и угостить могу всякого.

— Merci bien[2], — сказал семинарист. — Приехать не мешало бы. Ты поистине достоин изучения.

Мужик радостно улыбнулся.

— Ага! — сказал он, подмигивая.

И горячо заговорил:

— Ах, брат, кабы мне ученье-то, каких бы я корней наворочал! Да ведь откуда ее взять? Я вон в городе недавно был. Так там что исделали? Там земский музей исделали и скилет крокодилий привезли, а он, может, пятьсот либо тысячу стоит. Вот, похоже, куда наши денежки-то идут, вот они мошенники-то, сукины дети! — сказал он с горечью. — А ты вот сиди тут... Да тут от одной скуки удавишься! Я уж на что бывалый человек, а и то не могу!

Скулы его порозовели, лицо приняло злое и грустное выражение. Не глядя на семинариста, он поднялся, надел армяк в рукава и, заскребая сапогами по земле, решительно по-

шел к лошади. «Чего он разозлился? — подумал семинарист, недоумевающе глядя ему вслед. — Вот нелепая и странная скотина!» Мужик, как бы угадав его мысли, обернулся.

— Чего вылупился? — сказал он зло и грубо. — Ай неправду говорю? Ты должен за учење благодарен быть, а не лупиться. Я с тобой задушевно, а ты — лупишься. Вот подойду, измордую тебя, в лучшем виде, — тогда судись со мной! Не посмотрю, брат, на твое духовенство, на пение!

Распутав лошадь, он кинул обрывок ей на шею и, подпрыгнув, упал животом на ее спину, перекинул ногу и бодро поехал среди могильных бугров на дорогу.

Ошеломленный таким неожиданным концом беседы, семинарист вспыхнул, переставил трясущимися руками между колен трость.

Мужик повернул на деревню. Семинарист, посидев в оцепенении и успокоившись, пошел под гору, поднялся на косогор и свернул на какую-то высокую межу, осыпанную белым клевером и убегающую вдаль между двумя стенами серо-зеленой ржи, бледной вдали,

под тучей. Мягкий, сладкий ветер дул навстречу, рожь слабо дымилась июньским цветом... Семинарист пожимал плечами и думал.

«Да-а. Без револьвера, собственно, и выходить бы не следовало».

Капри. 26 января. 1913

Комментарии

Газета «Русское слово», 1913, № 34. В газете «Возрождение», Париж, 1926, № 344 — под заглавием «На погосте. Рассказ». Дата в рукописи (машинопись с правкой автора): «23—26 января — 7—8 февраля 1913 г. Капри».

В тексте 4-го тома Собрания сочинений (1933) Бунин вычеркнул (после слов: «...Несешь и с Дона и с моря») следующий диалог семинариста и мужика:

«Ну, а скажи, пожалуйста: как относятся к тебе твои односельчане? За кого они считают тебя?»

— Никак они ко мне не могут относиться».

Эти фразы Бунин перенес в статью «Думая о Пушкине», напечатанную в 1926 г.:

«Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: «Каково ваше отношение к Пушкину?» В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?»

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему».

Некоторых лиц, изображенных в рассказе, Бунин наблюдал в деревне Глотова. Он записал в дневнике 23 мая 1912 г.:

«Ездили через Знаменье к Осиновым Дворам.

Дьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, роет вилами навоз, а сын: „Ах, как бы я хотел прочитать „Лунный камень“ Бальмонта!“».

Интересно, что выражение «...каких бы корней наворочал!» — фраза из обиходной речи самого Бунина. В 1911 г., будучи в Нюрнберге, он восхищался готическими соборами с их «порталами, цветными стеклами и органом» и говорил, что жизнь устроена так, что многие изумительные создания искусства никогда не услышишь и не узнаешь, «а каких можно было бы корней наворочать!»

Примечания

1

Грива соломенного цвета, бело-желтоватого.

[^^^]

2

Большое спасибо (*франц.*).

[^^^]